МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тверской государственный университет

А. Ю. Сергеева-Клятис
О. А. Лекманов

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ» ИОСИФА БРОДСКОГО

Серия «Лекции в Твери»

ТВЕРЬ 2002

УДК 882.09–1+929 Бродский
ББК Ш5(2=411.2)6–4 Бродский И.А.535
С32

Сергеева-Клятис А. Ю., Лекманов О. А.
«Рождественские стихи» Иосифа Бродского. – Тверь: Твер. гос. ун-т, 2002. – 44 с. (Литературный текст: проблемы и методы исследования; Приложение, Серия «Лекции в Твери»).

В небольшой монографии А. Ю. Сергеевой-Клятис и О. А. Лекманова предложено взглянуть на рождественские стихи Иосифа Бродского как на целостное явление. Доказывается это путем подробного анализа пяти стихотворений поэта, написанных в разное время: с 1962 по 1995 год.

УДК 882.09–1+929 Бродский
ББК Ш5(2=411.2)6–4 Бродский И.А.535
С32

© Тверской государственный университет, 2002
© Сергеева-Клятис А. Ю., Лекманов О. А., 2002

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОТ АВТОРОВ.....4

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС»
КАК ПУТЕШЕСТВИЕ
ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ И ОБРАТНО.....5

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО В ПАЛАТЕ № 6
(О СТИХОТВОРЕНИИ
«НОВЫЙ ГОД НА КАНАТЧИКОВОЙ ДАЧЕ»).....12

СУЕТА, ПУСТОТА И ЗВЕЗДА В СТИХОТВОРЕНИИ
«24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА».....19

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»:
ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ.....26

МОЛЧАНИЕ МЛАДЕНЦА:
О СТИХОТВОРЕНИИ «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ(2)».....32

ОТ АВТОРОВ

В этой небольшой книжке предпринята попытка взглянуть на рождественские стихи Иосифа Бродского как на своего рода вехи, которыми начиная с 1961 года почти ежегодно отмечался путь поэта. Метафора самого Бродского: «Что-то вроде дисциплины... Как человек, который каждый год фотографируется, чтобы знать, как он выглядит»[1].

Из двадцати трех рождественских стихотворений поэта для подробного разбора было отобрано пять: два ранних стихотворения, два поздних и одно, которое кажется нам *переломным* от раннего к позднему периоду творчества Бродского. Избегая поспешных предварительных выводов, отметим всё же, что последовательный разбор пяти рождественских стихотворений поэта, на наш взгляд, позволяет осторожно говорить об эволюции отношения автора «Рождественского романса» и «Рождественской звезды» к христианству: от предельно личного и страстного к подчеркнуто объективированному. Поздний Бродский избегал попадать в кадр, сам предпочитая выступать в роли фотографа.

Свою работу мы посвящаем нашим детям: Лизе и Филе.

[1] *Бродский И.* Большая книга интервью / Сост. В. Полухина. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000. С. 298.

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС» КАК ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ В ПЕТЕРБУРГ И ОБРАТНО

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РОМАНС

Евгению Рейну, с любовью

Плывет в тоске необъяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.

Плывет в тоске необъяснимой
пчелиный хор сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необъяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необъяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой
пловец в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,

плывет красотка записная,
своей тоски не объясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних,
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.

Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.

28 декабря 1961[2]

Какую «ночную столицу» описывает Бродский в «Рождественском романсе»? На первый взгляд этот вопрос почти абсурден. Стихотворение густо насыщено характерно московскими топонимами и реалиями. В первой строфе появляется Александровский сад, во второй – упоминается Ордынка[3], а в четвертой стро-

---

[2] Здесь и далее текст «Рождественского романса» приводится по изданию: *Бродский И.* Рождественские стихи. М., 1996. С. 5–6. В разных изданиях Бродского это стихотворение датируется как 1961, так и 1962 годом. Консультация с В. А. Куллэ убедила нас в правильности первой датировки. Интересные соображения о «Рождественском романсе» см.: *Седакова О.* Музыка глухого времени: Русская лирика 70-х гг. // Вестн. новой лит. 1990. Вып. 2. С. 258.

[3] На Ордынке располагаются как минимум два архитектурных объекта, в той или иной степени имеющих отношение к тематике разбираемого стихотворения: выстроенный В. И. Баженовым Храм в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» и Храм Иверской иконы Божьей Матери (в 1961 г. не был действующей церковью).

фе говорится о «мгле *замоскворецкой*». Думается, можно предположить, что строка «и пахнет сладкою халвою» опирается на вполне конкретное «обонятельное» впечатление: недалеко от Замоскворечья располагается кондитерская фабрика «Красный Октябрь». Всё это позволяет даже заглавие разбираемого стихотворения понять как отчасти каламбурное, провоцирующее читателя вспомнить не только о празднике *Рождества*, но и о названии одного из московских бульваров (находящегося в относительной близости к Замоскворечью).

Однако сквозь облик нынешний столицы в «Рождественском романсе» отчетливо проступают черты «столицы, переставшей быть таковою»[4].

Само посвящение «Рождественского романса» ленинградцу с именем *Евгений* (и «речной» фамилией *Рейн*)[5], вкупе с многочисленными «речными» образами стихотворения, возможно, отсылает читателя к классической петербургской поэме «Медный всадник». И уже совершенно очевидным кажется то обстоятельство, что ночная Москва, какой она предстает в стихотворении Бродского:

> Плывет в тоске необъяснимой
> пчелиный хор сомнамбул, пьяниц… –

чрезвычайно напоминает Петербург, каким он описывался создателями петербургского мифа – Пушкиным, Гоголем, Достоевским, Андреем Белым... Почти прямой цитатой из Достоевского выглядит строка о «желтой лестнице печальной» из четвертой строфы «Рождественского романса».

Но и этого мало. Обратившись к начальным строкам нашего стихотворения, вспомним, что вплоть до 1918 года «Александровским» именовался Адмиралтейский сад в центре Петербурга. Так что «кораблик негасимый», плывущий в стихотворении

---

[4] *Бродский И.* Большая книга интервью. С. 137.

[5] Ср. с каламбуром Бродского в его прозаической «Заметке для энциклопедии»: «Главные реки, протекающие по территории Уфляндии, Фонтанка, *Рейн* и Пряжка» (*Бродский И.* Заметка для энциклопедии // Уфлянд В. «Если Бог пошлет мне читателей...» СПб., 1999. С. 28).

Бродского над кремлевской стеной Москвы, – это позолоченный флюгер-«кораблик» на здании Главного Адмиралтейства (один из наиболее распространенных символов Петербурга / Ленинграда – эмблема Ленфильма).

Две столицы в «Рождественском романсе» объединяются мотивом «полночного поезда новобрачного». Как подсказала нам Н. Б. Иванова, речь у Бродского идет о знаменитой «Красной стреле», которая в полночь отправлялась в путь с Ленинградского вокзала в Москве и с Московского – в Ленинграде.

Двоящийся образ «ночной столицы» идеально воплощает в себе главную тему «Рождественского романса»: тему иллюзорности, призрачности окружающей действительности. Двоятся, ускользают от однозначного истолкования и остальные мотивы стихотворения. Это относится прежде всего к ключевым для «Рождественского романса» мотивам *реки* и *луны*. Хотя слова «река» и «луна» ни разу не употребляются в стихотворении Бродского, вся образность стихотворения *вырастает* именно из этих двух слов.

Традиционное изображение российской столицы как города на Неве Бродский дополняет изображением советской столицы как города на Москве-реке. Кажется весьма вероятным, что поэт остановил свой выбор на Замоскворечье в первую очередь потому, что этот район группируется вокруг реки и ей обязан своим именем. В частности, чтобы кратчайшим путем попасть из Александровского сада (описанного в первой строфе) на Ордынку (куда уезжает такси во второй строфе), необходимо пересечь Москву-реку через Большой москворецкий мост (в скобках отметим, что московский Александровский сад был разбит на месте заключенной в трубу реки Неглинки).

Избегая прямых упоминаний о Неве и о Москве-реке в своем «Рождественском романсе», поэт пользуется «речными» и «корабельными» образами. С «кораблика», который «плывет в тоске необъяснимой», стихотворение начинается. Мечтой о том, что «жизнь», подобно кораблю, «качнется вправо, / качнувшись влево», стихотворение завершается. В промежутке между этими кораблями всё в стихотворении тоже «плывет» (глагол, повто-

ряющийся в 6 строфах 8 раз)[6] или как в пятой строфе – «льется» (и сочится? См. в этой же строфе: «Ночной пирог несет *сочельник*...»). «Пловцом печальным», «пловцом в несчастие» в финале «Рождественского романса» предстает сам «Новый год», плывущий «по темно-синей / волне».

Луна, так же как река, вводится в предметный мир «Рождественского романса» при помощи намеков и недомолвок. Первая строфа стихотворения начинается с загадки, которую, впрочем, довольно просто отгадать. «Ночной кораблик негасимый / из Александровского сада», плывущий «среди кирпичного надсада» – в сознании москвича ассоциируется, конечно же, не с Вечным огнем (который был зажжен лишь в 1967 году) и не со зданием Манежа, своими очертаниями отдаленно напоминающим гигантский желтый корабль (но не «кораблик»), а именно с луной[7]. В строках «ночной пирог несет сочельник / над головою» (пятая строфа)[8] легко опознать еще одно замаскированное ее изображение, особенно если вспомнить о «кулинарном» заглавии стихотворения Бродского 1964 года «*Ломтик* медового *месяца*». Приведем также строки из рождественского стихотворении А. Ахматовой «Бежецк» (1921): «И серп поднебесный желтее, чем липовый мед»[9]. А словосочетание «дворник круглолицый» (третья строфа «Рождественского романса») позволяет внимательному читателю вспомнить о знаменитом пушкинском уподоблении круглого лица «глупой луне» на «глупом небосклоне».

Отметим, что тема *медового месяца*, восходящая к присутствующему за кадром стихотворения образу *луны*, активно разра-

---

[6] Столь частое употребление этого глагола мотивируется, по всей вероятности, нетрезвым состоянием героя стихотворения (см. особенно: «*Плывет в глазах* холодный вечер...»).

[7] Заманчиво было бы предположить, что речь у Бродского в данном случае идет о трамвае (см. в пятой строфе стихотворения: «Дрожат снежинки на *вагоне*»). Загвоздка, однако, состоит в том, что маршруты трамваев никогда не пролегали близ московского Александровского сада (за эту справку приносим благодарность сотрудникам музея Москвы).

[8] К образному контексту: в «Вечерней Москве» от 27 декабря 1961 года была помещена карикатура В. Жаринова «Рождественский пирог».

[9] *Ахматова А.* Сочинения: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 136.

батывается в «Рождественском романсе». Так, эпитет «пчелиный» употреблен во второй строфе стихотворения Бродского отчасти как сходный по звучанию с эпитетом «печальный», отчасти как продолжающий тему медового месяца. В предыдущей строфе *медовую* тему намечал образ «желтой розы»; в следующей появится «поезд *новобрачный*»; а в предпоследней строфе «Рождественского романса» встречаем метафору «*мед* огней вечерних». Картиной *воображаемого* свадебного пира («льется мед», «пахнет сладкою халвою») завершается пятая строфа стихотворения, причем «сочельник», подобно официанту, «несет над головою» «ночной пирог» луны (ассоциацию подкрепляют предшествующие строки пятой строфы, где возникает образ белых перчаток официанта: «морозный ветер, бледный ветер / обтянет красные ладони»).

Попытавшись ответить на закономерный вопрос, почему «главной героиней» рождественского стихотворения Бродского оказывается не звезда, а луна, решимся на рискованное предположение: поскольку луна в «Рождественском романсе» плывет «среди кирпичного надсада» кремлевской стены, в роли ее соседки выступает как раз звезда, но звезда не та, *не* рождественская звезда[10]. Но ведь и «темно-синяя волна», столь выразительно и зримо изображенная в шестой строфе стихотворения, – это волна сугубо метафорическая. Реальная Москва-река в конце декабря 1961 года была скована льдом: в ночь с 27 на 28 декабря температура воздуха в Москве, согласно газетной информации, упала до двадцати одного – двадцати трех градусов ниже нуля (см., например: Вечерняя Москва. 1961. 29 декабря. С. 1).

Тему взаимоналожения нынешнего и минувшего (еще одно двоение) привносит в стихотворение и строка «такси с больными седоками», где вполне современное название средства передвижения соседствует с вполне архаичным именованием пассажиров. «Такси с больными седоками» в стихотворении Бродского подобно машине времени перемещается из сегодняшнего дня во вче-

[10] О сходных мотивах у другого писателя (антагониста Бродского во всех отношениях) см.: *Чудакова М. О.* Звезда Вифлеема и Красная звезда у М. Булгакова // Russie: Melanges offerts a G. Nival pour son soixantierne anniversaire. Geneve, 1995. P. 313–322.

рашний. С точки зрения человека из прошлого («седока»), новые, построенные в советскую эпоху дома – это «мертвецы», которые «стоят в обнимку» с привычными глазу старого москвича ордынскими «особняками».

Горький итог стихотворения подводится трижды повторяющимся в финальной строфе «как будто»:

Твой Новый год по темно-синей
волне средь шума городского
плывет в тоске необъяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будут свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево[11].

Надежды на это «как будто» столь же иллюзорны, как иллюзорны в «Рождественском романсе» *Москва* и *Петербург*, *река* и *луна*, как иллюзорным для значительной части населения Советского Союза был сам праздник Рождества, который подменялся встречей очередного Нового года.

А о Рождестве жителям СССР напоминали, как правило, лишь для того, чтобы обличить мишурные блага и лицемерие западной цивилизации. Только несколько примеров из множества напрашивающихся: в «Московской правде» 27 декабря 1961 года был опубликован фельетон А. Александрова «Марципановое счастье и новогодняя действительность»; в «Труде» 26 декабря 1961 года – анонимная разоблачительная заметка «Рождественский «фейерверк» ультра».

[11] «Свет и слава» здесь, конечно же, иносказательное введение в стихотворение образа Христа, тем более, что дальше намекается на знаменитый евангельский эпизод с пятью хлебами, которыми насытились пять тысяч человек (см., например: Мф. 14; 17–21).

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО В ПАЛАТЕ № 6 (О СТИХОТВОРЕНИИ «НОВЫЙ ГОД НА КАНАТЧИКОВОЙ ДАЧЕ»)

В одной из недавних работ М. Л. Гаспаров следующим образом объясняет разницу между анализом текста и его интерпретацией: «Эти два понятия часто смешиваются; между тем по смыслу они диаметрально противоположны. В основе этой противоположности – интуитивное различение текстов "простых" и "трудных" для понимания. "Простые" требуют анализа (этимологически: "раз-бор"): мысль движется от понятного целого к не вполне понятным частностям. "Трудные" требуют интерпретации (этимологически: "толкование"): мысль движется от более или менее понятных частностей к непонятному целому. Понятность в обоих случаях есть не что иное, как возможность пересказать текст "своими словами", т.е. реконструкция ситуации, о которой или в которой могли быть произнесены слова данного текста»[12].

Цель нашей второй заметки: анализ стихотворения Бродского «Новый год на Канатчиковой даче». Сначала мы его кратко перескажем, не вдаваясь в частности; затем, в меру своего невежества, попытаемся соотнести эти не вполне понятные частности с логикой магистрального сюжета всего стихотворения.

НОВЫЙ ГОД НА КАНАТЧИКОВОЙ ДАЧЕ

Спать, рождественский гусь,
отвернувшись к стене,
с темнотой на спине,
разжигая, как искорки бус,
свой хрусталик во сне.

Ни волхвов, ни осла,
ни звезды, ни пурги,
что Младенца от смерти спасла,
расходясь, как круги
от удара весла.

[12] *Гаспаров М. Л.* Поэт и общество: Две готики и два Египта в поэзии О. Мандельштама // Сохрани мою речь. М., 2000. Вып. 3, ч. 1. С. 25.

Расходясь, будто нимб
в шумной чаще лесной
к белым платьицам нимф,
и зимой, и весной
разрезать белизной
ленты вздувшихся лимф
за больничной стеной.

Спи, рождественский гусь.
Засыпай поскорей.
Сновидений не трусь
между двух батарей,
между яблок и слив
два крыла расстелив,
головой в сельдерей.

Эта песня сверчка
в красном плинтусе тут,
словно пенье большого смычка,
ибо звуки растут,
как сверканье зрачка
сквозь большой институт.

«Спать, рождественский гусь.
Потому что боюсь
клюва – возле стены
в облаках простыни,
рядом с плинтусом тут,
где рулады растут,
где я громко пою
эту песню мою».

Нимб пускает круги
наподобье пурги,
друг за другом вослед
за две тысячи лет,
достигая ума,
как двойная зима:
вроде зимних долин
край, где царь – инсулин.

Здесь, в палате шестой,
встав на страшный постой
в белом царстве спрятанных лиц,
ночь белеет ключом
пополам с главврачом

ужас тел от больниц,
облаков – от глазниц,
насекомых – от птиц.

Январь 1964[13]

Это стихотворение строится как внутренний монолог пациента психиатрической клиники. Он старается уснуть в рождественскую ночь, поэтому страшноватые больничные реалии причудливо смешиваются в его сознании с евангельскими именами и обстоятельствами. Герой стихотворения боится действительности и ускользает от нее в сон, однако, как почти всегда у Бродского, в мире есть кто-то, кому еще страшнее и хуже. Этот «кто-то» – больничный сверчок, прячущийся от героя («рождественского гуся») в укромную щель.

Представить себе более конкретную картину позволяет соотнесение некоторых мотивов стихотворения «Новый год на Канатчиковой даче» со следующим автобиографическим фрагментом позднейшего интервью поэта: «Мне делали жуткие уколы транквилизаторов. Глубокой ночью будили, погружали в ледяную ванну, заворачивали в мокрую простыню и помещали рядом с батареей. От жара батарей простыня высыхала и врезалась в тело»[14]. Может быть, допустимо предположить, что в разбираемом стихотворении как раз и описан несчастный alter ego автора, глубокой ночью мечущийся «в облаках *простыни*» «между двух *батарей*» после укола и ледяной ванны?

Теперь перейдем к построфному выявлению и (насколько это получится) разъяснению темных фрагментов стихотворения «Новый год на Канатчиковой даче»:

---

[13] *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 8–9.
[14] *Бродский И.* Большая книга интервью. С. 279.

рождественский гусь – герой стихотворения Бродского – изгой, отвергаемый ближними. Поэтому его удел – играть незавидную роль рождественского блюда, подаваемого к столу. Сходная ситуация описана в песне А. Галича «Новогодняя фантасмагория». Бродский воображает себя рождественским гусем, прячущимся «головой *в сельдерей*»; Галич – рождественским поросенком, который «лежит в *сельдерее*, убитый злодейским ножом»[15].

Участь жертвы, принятая на себя героями Бродского и Галича, провоцирует обоих соотнести собственный образ с фигурой Спасителя. Бродский (в четвертой строфе стихотворения) делает это осторожнее, как бы предлагая читателю самому окружить соответствующими атрибутами портрет «распятого» рождественского гуся («между яблок и слив / *два крыла расстелив*...»); Галич – прямолинейнее, с отчетливой реминисценцией из «Двенадцати» Блока и с заменой рифмы «роз» – «Христос» на «мороз» – «берез»: «...А за окнами снег, а за окнами белый мороз, / Там бредет *моя* белая тень мимо белых берез...» (Ср. в тексте Галича несколькими строками выше: «В ночь, когда по скрипучему снегу, в трескучий мороз, / Не пришел, а ушел, мы потом это поняли Белый Христос...»);

Спать, рождественский гусь, / отвернувшись к стене – поза, которую принимает «рождественский гусь», позволяет ему, укрывшись одеялом и отгородившись от внешнего мира, почувствовать себя находящимся как бы в новозаветной пещере. Кажется уместным привести здесь ту реплику из разговора Бродского с П. Вайлем, где речь идет о психиатрии, желании человека спрятаться от окружающего мира и о рождественской пещере: «Я... . ...Из польского журнальчика... вырезал себе картинку. Это было "Поклонение волхвов"...

<...>

Знаете, в психиатрии есть такое понятие – "комплекс капюшона". Когда человек пытается оградиться от мира, накрывает голову капюшоном и садится, ссутулившись. В той картинке и

---

[15] Здесь и далее песня Галича цитируется по изданию: *Галич А.* Поколение обреченных. Frankfurt a.M., 1972. С. 209–211.

других таких есть этот элемент – прежде всего за счет самой пещеры…»[16];

разжигая, как искорки бус, / свой хрусталик во сне – в этих строках сконцентрированы ключевые для рождественских стихотворений Бродского мотивы сияния («*разжигая*, как *искорки бус*», «*хрусталик*») и зрения («[глазной]*хрусталик во сне*»). Ср., например, в рождественском стихотворении Бродского «Неважно, что было вокруг, и неважно...» (1990): «Морозное небо… *сверкало* звездою – и некуда деться / ей было отныне от *взгляда* Младенца»[17].

Тема будет подхвачена и развита в пятой строфе стихотворения «Новый год на Канатчиковой даче», где изображено «*сверканье зрачка* / сквозь большой институт»;

ни пурги, что Младенца от смерти спасла, /... / Расходясь, будто нимб /... / и зимой, и весной / разрезать белизной / ленты вздувшихся лимф / за больничной стеной – две тысячи лет тому назад метель помогла Святому семейству «замести следы». Для современного человека пурга – не более чем пособница и разносчица очередной эпидемии ангины, от которой набухают лимфы и пик которой, как правило, приходится на конец зимы – начало весны;

двойная зима – зима на улице + зима в больнице. Холоду, белизне и неуютной стерильности внешнего мира идеально соответствуют холод, белизна и неуютная стерильность больничного мира;

вроде зимних долин / край, где царь-инсулин – возможная аналогия: больница = царство Ирода=инсулина, но не царство Христа;

в палате шестой – прозрачный намек на чеховскую «Палату № 6». Чехов и Бродский весьма сходно оценивали уровень развития психиатрии в современной им России. Оба противопоставля-

---

[16] *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 62–63. От окружающего мира пытается оградиться и сверчок Бродского, прячущийся в «красном плинтусе».

[17] *Бродский И.* Там же. С. 45.

ли сумасшедший дом тюрьме, как самое безнадежное для человека место заключения: «...в тюрьме, по крайней мере, вы знаете, что вас ожидает. У вас срок – от звонка до звонка. <...> И в принципе ты знаешь, что рано или поздно тебя все-таки выпустят, да? В то время как в сумасшедшем доме ты полностью зависишь от произвола врачей» (Бродский)[18]; «...разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже...» (Чехов)[19];

в белом царстве спрятанных лиц – речь идет о больнице (подразумеваются санитары в масках), которая на этот раз сравнивается с мусульманским государством, где у женщин лица спрятаны под чадрой, а у мужчин – под бородой. Об отношении Бродского к мусульманскому Востоку см., например, в его эссе «Путешествие в Стамбул»: «О все эти чалмы и бороды – эта униформа головы, одержимой одной мыслью: рэзать»[20];

ночь белеет ключом – ср. в мемуарах С. Максудова (А. Бабенышева), посетившего Бродского в норенской ссылке: «Из рассказов помню его ужас от замкнутого *на ключ* и деформированного пространства психушки, ужас бессилия перед произволом врачей и санитаров. В тюрьме было спокойней»[21];

ужас тел от больниц – пациентов от медицинского персонала;

облаков – от глазниц – скорее всего речь идет о пустых глазницах черепов, усеивающих землю. Вероятный подтекст этого образа: картина В. Верещагина «Апофеоз войны». Отчасти сходные мотивы присутствуют и в «Палате № 6»: «Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с *открытыми глазами, и луна ночью освещала*

---

[18] *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 73.

[19] *Чехов А.* Повести и рассказы. М., 1997. С. 239.

[20] *Бродский И.* Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. / Под общ. ред. Я. А. Гордина. СПб., 2001. Т. 5. С. 304.

[21] *Максудов С. (Бабенышев А.)* Командировка в Норинскую // Новое лит. обозрение. 2000. № 45. С. 204.

его»[22]. Напомним также, что череп Адама, лежащий на Земле и устремляющий взгляд в небо, традиционно изображается на иконах, разрабатывающих сюжет Распятия;

насекомых – от птиц – сверчка – от рождественского гуся (Ср. в шестой строфе стихотворения: «потому что *боюсь* / клюва – возле стены / в облаках простыни»).

Что существенно нового прибавил к нашему пониманию стихотворения Бродского его подробный разбор? Безотрадная картина, изображающая существование человека в сумасшедшем доме, расширилась теперь до безотрадной картины, изображающей жизнь человека в сумасшедшем мире. Круги, которые нимб пурги (метафора Рождества) «пускает» уже в течение двух тысяч лет, до сих пор остались не востребованы человечеством. Их оказывается способным пропустить через себя только тот, кто сам попал в положение жертвы – «рождественский гусь» из палаты № 6.

Сходное представление три года спустя будет положено в основу рождественской поэмы Бродского «Речь о пролитом молоке» (1967). Только вот о гусях говорится здесь совсем в ином тоне:

> Я дышу серебром и харкаю медью!
> Меня ловят багром и дырявой сетью.
> Я дразню гусей и иду к бессмертью,
> дайте мне хворостину![23]

[22] *Чехов А. П.* Повести и рассказы. С. 262.
[23] *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 24.

СУЕТА, ПУСТОТА И ЗВЕЗДА В СТИХОТВОРЕНИИ «24 ДЕКАБРЯ 1971 ГОДА»

В беседе с И. Бродским П. Вайль так охарактеризовал его рождественские стихи: «Несколько упрощая, можно сказать, что раньше вы писали стихи по поводу Рождества, а в последние годы – о Рождестве»[24]. К какому из этих двух разрядов следует отнести стихотворение «24 декабря 1971 года»:

В Рождество все немного волхвы.
    В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
    производит осаду прилавка
грудой свертков навьюченный люд:
    каждый сам себе царь и верблюд[25].

Первые строки этого стихотворения несомненно говорят в пользу того, что написано оно *по поводу* Рождества, вернее, даже по поводу подготовки к празднику. Не совсем ясно, о каком празднике идет речь – совершенно очевидно, что герои трех начальных строф о Рождестве как таковом и не помышляют. Резонно предположить, что они готовятся отмечать куда более «советский» праздник – наступление Нового года. Оптимистический зачин стихотворения – «В Рождество все немного волхвы» – варьируется в конце первой строфы, приобретая иной смысл: «каждый сам себе царь и верблюд». Вместо того чтобы, как новозаветные волхвы, готовить подарки новорожденному младенцу Христу, люди подносят их себе. Список даров включает не символические золото, ладан и смирну, а вполне реальные закуски и выпивку к новогоднему столу: «Запах *водки*, *хвои* и *трески*, / *мандаринов*, *корицы* и *яблок*». Тех, кто закупает все эти сомнительные «лакомства», трудно назвать волхвами, более того, в них есть что-то недочеловеческое. Они скорее похожи на верблюдов, навьюченных перевозимыми грузами.

---

[24] *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 60.
[25] Там же. С. 34–35.

О волхвах едва ощутимо напоминает в первой строфе стихотворения только «банка *кофейной халвы*», сохранившая восточный колорит даже на прилавке советского магазина. Заметим, что подготовка к празднику описывается у Бродского почти в военных терминах – «*осада прилавка*». Агрессивная «военная» образность будет подхвачена в третьей строфе: «*И разносчики скромных даров / в транспорт прыгают, ломятся в двери...*»[26]. Такой способ встречать Рождество – самый мирный и даже камерный праздник – совершенно не соответствует христианской традиции. Тема осады и штурма как бы предвещает появление в стихотворении Ирода, который, как известно, интересовался Рождеством только потому, что боялся Младенца и хотел погубить его.

В Евангелии новорожденного Христа волхвы называют «*Царем Иудейским*». И потому слова «*каждый сам себе царь и верблюд*» порождают еще одну ассоциацию – человек сам для себя представляет то божество, которому преподносятся подарки в этот день[27].

Бытовую картинку давки в продовольственных магазинах (а ей посвящена вся вторая строфа разбираемого стихотворения) Бродский выстраивает с помощью метонимии:

Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.
Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

Составляется каталог вещей, запахов, продуктов. Взгляд автора скользит по человеческим фигурам. Сначала он останавливается на тех вещах, которые люди держат в руках: «Сетки, сумки, авоськи, тюки...»; затем обращается к одежде: «шапки, гал-

[26] См. также строку: «шапки, галстуки, *сбитые* набок».

[27] Царем Иудейским является также Ирод. Каждый человек, следовательно, несет в себе что-то враждебное по отношению к новорожденному Младенцу. Слово «царь» Бродский употребляет и для определения волхвов: «Буран бушевал и выматывал душу / из бедных *царей*, доставлявших дары» («Рождество 1963 года»).

стуки, сбитые набок». И только лица остаются незамеченными, они расплываются в «*хаос* лиц». Ведь в ритуальных действиях толпы нет ничего индивидуального. Люди уверены, что «*пусто* в пещере», поскольку они живут в атеистическом обществе и каждый точно знает: бога нет. Подготовка к празднику подменяет сам праздник, обыватели пытаются любой ценой спастись от окружающей их пустоты. Но бессмысленная суета оказывается препятствием на пути к месту рождения Спасителя. Крупа – ветхозаветная небесная манна, насыщающая избранный народ во время его скитаний по пустыне, – превращается в снежную метель. Именно она не дает разглядеть дорогу в страну обетованную – в Вифлеем.

Люди, закупающие продукты к новогоднему столу, названы «разносчиками скромных даров» – Рождество используется ими как повод повеселиться. «Разносчики скромных даров» вместо пещеры, содержащей бесценный подарок миру, «исчезают в провалах дворов», все в той же пустоте, которая господствует и в их душах[28]:

И разносчики скромных даров
    в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
    даже зная, что пусто в пещере:
ни животных, ни яслей, ни Той,
    над Которою – нимб золотой.

Однако безрадостная картина, описанная поэтом в первых трех строфах, неожиданно для читателя переносится в совершенно другой временной план и обретает совершенно иное звучание:

---

[28] Тема пустоты, наполняющей души людей, звучит и в других рождественских текстах Бродского: «За душой, как ни шарь, ни черта» («Снег идет, оставляя весь мир в меньшинстве...», 1986); «...а что до пустыни, пустыня повсюду» («Представь, чиркнув спичкой...», 1989); «Привыкай, сынок, к пустыне/ как к судьбе./ Где б ты ни был, жить отныне / В ней тебе» («Колыбельная», 1992).

Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства -
основной механизм Рождества.

Эта строфа построена на оксюмороне – чем сильнее чувствуется пустота, тем больше надежды на ее заполнение. Такое противоречие не может быть объяснено ничем иным, кроме как чудом. Чудо происходит независимо от тех ощущений, которыми исполнен канун праздника. Оно заключается в неожиданном появлении «*света ниоткуда*», тайным, неведомым для них самих образом приближающего героев стихотворения к сокровенной сути Рождества. Еще один оксюморон возникает в строках об Ироде: «знал бы Ирод, что чем он сильней, / тем верней, неизбежнее чудо». Чем больше в распоряжении Ирода способов уничтожить новорожденного Младенца, тем значительнее Его спасение – вопреки всем земным законам. Совершившееся в рождественскую ночь чудо повторяется снова и снова, независимо от воли и желания людей. В конце строфы автор делает вывод, предваряющий финал всего стихотворения: «Постоянство такого родства – / основной механизм Рождества». Здесь можно было бы привести многочисленные примеры Евангельских текстов, раскрывающие сходный с описанным «механизм спасения». Мы, однако, не будем цитировать Евангелие, поскольку сам исследуемый текст содержит в себе достаточно материала для прояснения этого механизма[29]. Напомним только, что Христос помнит прежде всего о спасении заблудших и призвании к покаянию грешников, а не праведников. Кроме того, несмотря на царящую везде пустоту, люди все же оказываются способны хотя бы отчасти ее преодолеть – чем ближе урочный час, тем предощущение праздника становится в них более значительным. Это совершенно ясно из пятой строфы стихотворения:

[29] См., впрочем: Мф. 8, 10–13. Лк. 7, 37–48; 15, 3–10.

То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая
в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.

В таком контексте совершенно новое значение приобретает строка об упорном стремлении людей отпраздновать Рождество, «даже зная, что пусто в пещере». Они еще не доросли до обетования вечной жизни, но им совершенно необходимо почувствовать потребность в звезде. Несмотря на свою забитость, жестокосердие и суетность, не зная, «кто грядет» и чего ожидать от Его прихода, воспринимая каждый рубеж года как «апокалипсис сегодня», люди тем не менее «сдвигают все столы». Они инстинктивно чувствуют приближение чуда, смысла которого еще не понимают. В этой готовности принять его Бродский видит залог спасения[30].

Особое значение имеет здесь упоминание о пастухах. Во всех толкованиях Евангелия сказано, что пастухи принимают благую весть на веру без всяких доказательств, сердцем, а не разумом (в отличие от мудрецов-волхвов, которые отправляются поклониться Младенцу только после появления звезды). Заметим, что на протяжении стихотворения постоянно варьируются две темы – знания и откровения. Все, что относится к области знания, оказывается недостаточным для встречи с новорожденным Христом: «...*зная*, что пусто в пещере»; «Кто грядет – *никому не понятно*»; «мы *не знаем* примет». К знающим относятся те, кто назван в стихотворении «немного волхвами». Только непосредственное, бездумное восприятие способно приблизить людей к Христу: «...*видишь* вдруг словно свет ниоткуда», «...но уж воля благая в человеках *видна* издали», «...*смотришь* в небо и ви-

[30] Аналогичные мотивы звучат и в ряде других стихотворений: «И взгляд подняв свой к небесам, / ты вдруг почувствуешь, что сам / чистосердечный дар» («Волхвы забудут адрес твой...», 1965); «И чудо свершится. Зане чудеса / к земле тяготея, хранят адреса, настолько добраться стремясь до конца, / что даже в пустыне находят жильца» («25. XII. 1993»).

дишь – звезда». Подобная точка зрения несколько неожиданно сближает стихотворение Бродского с религиозными концепциями Достоевского (вспомним хотя бы о знаменитом финале «Преступления и наказания»).

Мрачная образность возвращается в шестой строфе стихотворения:

Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.
Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Приближение праздника осознается и описывается как приход в мир самого Спасителя (собственно в этом и состоит мистериальное значение Рождества). Но люди не знают Христа, они боятся его приближения. Именно поэтому оно в их глазах и в глазах автора («*мы*») приобретает признаки второго пришествия – Апокалипсиса. «Трубы кровель» (реминисценция из Маяковского?)[31] напоминают о трубах архангелов, возвещающих о конце мира. Из безликой толпы («все лица как пятна»), имеющей совершенно определенные этнографические черты, выделен Ирод: «Ирод пьет». Это не столько Евангельский царь Ирод, сколько собирательный образ российского работяги-алкоголика (ср. с ходовым причитанием русских женщин: «Что ж ты пьешь, Ирод?!»). Поэтому становится допустимым и правомерным дальнейшее развитие ассоциации: «бабы прячут ребят» от пьяных мужей, как святое семейство – Христа от Ирода.

Не совсем понятно, к какому времени относятся описываемые события – к моменту ли Рождества или к последнему дню

[31] Ср. со знаменитым финалом стихотворения Маяковского «А вы могли бы?»: «А вы / ноктюрн сыграть / могли бы / на флейте водосточных труб?» (*Маяковский В. В.* Избранные произведения: В 2 т. М., 1960. Т. 1. С. 21). Отметим, что финал стихотворения Бродского отчетливо перекликается с финалом программного стихотворения Маяковского «Послушайте!». О Бродском и Маяковском см.: *Гаспаров М. Л.* Рифма Бродского // Избранные статьи. М., 1995. С. 85–93.

творения. Очевидно, с равной степенью вероятности – и к тому и к другому, поскольку в 1971 году люди так же не готовы к принятию благой вести, как не были готовы к ней и в рождественскую ночь. Они «не знают примет» Приближающегося и потому не могут понять, «кто грядет». Снежная крупа, которая мешает увидеть дорогу в Вифлеем в начале стихотворения, превращается уже в плотную завесу – «валит снег». Казалось бы, из этого состояния неразберихи, страха и оцепенения нет выхода. Но упомянутый уже «механизм Рождества» продолжает свое магическое действие – происходит чудо:

Но когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

Пустота наконец-то заполняется – оставшись наедине с самим собой, человек оказывается способным не только вместить Младенца и Духа Святого в свое сердце, но еще и почувствовать себя самого творением и частицей родившегося в эту ночь Христа. Напомним, что в беседе с П. Вайлем Бродский заметил: «В конце концов, что есть Рождество? День рождения Богочеловека. И человеку не менее естественно его справлять, чем свой собственный»[32]. И одновременно весь окружающий мир обретает свой единственный и радостный смысл – звезда зажигается над головами тех, кто еще недавно не чувствовал в ней никакой потребности[33]. Обратим внимание на неожиданную полемическую перекличку финальной строфы разбираемого стихотворения Бродского с известными строками Б. Окуджавы: «Не бродяги, не *пропойцы* / за столом семи морей // вы пропойте, вы пропойте / славу *женщине* моей! / Вы в глаза ее взгляните,/ как в *спасение* свое...». И далее: «Просто нужно очень верить / этим синим маякам, / и тогда нежданный берег / *из тумана* выйдет к вам». В финальной

[32] *Бродский И.* Рождественские стихи. С.58.
[33] Песни Булата Окуджавы. М., 1989. С. 88.

строфе стихотворения Бродского возникает и характерно «окуджавский» мотив открытой двери. Еще один возможный подтекст последней строфы стихотворения Бродского – финальные строки стихотворения А. Ахматовой «Причитание» (1922): «Провожает Богородица, / Сына кутает в платок, / Старой нищенкой обороненный / У Господнего крыльца»[34].

Подведем краткий итог: «24 декабря 1971 года» невозможно считать стихотворением, написанным только *по поводу Рождества*, что легко сказать о более ранних текстах, например о «Рождественском романсе» (1961) и «1 января 1965 года» («Волхвы забудут адрес твой...»). Начатое как стихотворение *по поводу Рождества,* оно к финалу становится стихотворением *о* Рождестве.

[34] *Ахматова А.* Указ. соч. С. 149. Иное истолкование этого образа у Бродского см. в новейшей монографии: *Ранчин А.* «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001.

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА»: ТЕКСТ И ПОДТЕКСТ

1. Текст

Эволюцию И. Бродского от первого рождественского стихотворения, появившегося в 1961 году, к последнему, которое датировано 1995 годом, можно описать как движение от усложненности и избыточности к внешней простоте и аскетизму, в конечном счете – движение к подлинно метафизической поэзии: «...выпендриваться не нужно. Во всяком случае у читателя… особенных трудностей… возникнуть не должно». Так судил о своих рождественских стихах сам поэт в беседе с П. Вайлем[35].

Ниже речь пойдет об одном из выразительных образчиков поздней рождественской лирики Бродского – о стихотворении «Рождественская звезда» (1987):

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти;
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным; грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Каспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца[36].

Зачин этого стихотворения Бродского (*«В холодную пору...»*) варьирует первую строку того отрывка из поэмы Н. А. Некрасова «Крестьянские дети», который в обязательном порядке заучивают наизусть школьники младших классов («Однажды, *в студеную*

[35] Цит. по: *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 60.
[36] Там же. С. 42.

зимнюю *пору*»). Впрочем, о стремлении поэта к почти школьной дидактичности и наглядности свидетельствует само строение двух начальных строк «Рождественской звезды», где Бродский без лишних предисловий вводит в стихотворение категории времени и пространства. Когда? «В холодную пору...» Где? «...в местности, привычной скорей к жаре, / чем к холоду»[37]. Позаимствованные из лексикона школьного учебника словесные клише («в местности», «к плоской поверхности») лишают две начальные строки стихотворения Бродского какого бы то ни было эмоционального накала и превращают выполненный им пейзаж в подобие географической карты или даже геометрического чертежа[38]. Ср. с рассуждениями Бродского об амфибрахии, которым написана «Рождественская звезда»: «Чем этот самый амфибрахий меня привлекает – тем, что в нем присутствует монотонность. Он снимает акценты. Снимает патетику. Это абсолютно нейтральный размер»[39].

Ответив на вопросы «когда?» и «где?», в следующей, третьей строке стихотворения автор «Рождественской звезды» объясняет «кто?» и «зачем?»: «*Младенец* родился в пещере, *чтоб мир спасти*». В приведенной строке со всей определенностью заявлена чрезвычайно важная для стихотворения тема сопоставления бесконечно малого с бесконечно большим. При этом малое у Бродского в полном соответствии с многовековой рождественской традицией оказывается в более сильной позиции, чем большое (почти: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю!»). Очень соблазнительно услышать в третьей строке «Рождественской звезды» дальнее эхо знаменитых мандельштамовских строк:

---

[37] Эти строки построены по принципу загадки (О какой *«местности»* идет речь?). В полном соответствии со «школьной» поэтикой своего стихотворения Бродский далее сам на свою же загадку отвечает: «мело, как только в *пустыне* может зимой мести».

[38] «Из всех математических дисциплин, с которыми мне довелось столкнуться в средней школе, мне больше всего нравилась геометрия. <...> Мне вообще на свете больше всего нравится геометрия. <…>

…Я думаю, что… метафизические поэты пошли от геометрии» (*Бродский И.* Большая книга интервью. С. 580).

[39] *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 59.

«Большая вселенная в люльке / у маленькой вечности спит»[40]. Здесь так же парадоксально, как и в разбираемом стихотворении, переплелись мотивы маленького/младенческого и большого/вселенского. У Бродского далее в стихотворении – ребенок *«в яслях»*; у Мандельштама в процитированных строках – вселенная *«в люльке»* (ср. в одиннадцатой строке «Рождественской звезды»: «Из глубины *Вселенной*...»).

Гораздо небрежнее замаскированной, а потому менее интересной и глубинно значимой кажется нам многократно отмеченная исследователями реминисценция в четвертой строке «Рождественской звезды» из пастернаковской «Зимней ночи»[41]. Поэтому к разговору о подтекстах из Мандельштама в стихотворении Бродского мы еще вернемся, а к разговору о подтекстах из Пастернака – нет.

Пока же обратимся к анализу второй строфы «Рождественской звезды». В первых трех строках получает свое логическое развитие тема соотношения малого и большого, но с резкой сменой масштаба и точки зрения. Теперь перед нами не географическая карта или геометрический чертеж, а очень крупным планом взятая внутренность пещеры, увиденная глазами только что родившегося Младенца. Важно отметить, что ничего специфического во взгляде Младенца на мир пока нет. Как и всякий ребенок, Младенец сначала сосредоточивается на том, что находится к Нему ближе всего («грудь матери»), а затем последовательно переводит свой взор на всё более и более отдаленные предметы («желтый пар / из воловьих ноздрей, волхвы – Бальтазар, Каспар, Мельхиор; их подарки, втащенные сюда»). Как и всякому ребенку даже предметы самых скромных размеров (дары волхвов) кажутся Младенцу сказочно большими: их не внесли, а с трудом *втащили* в пещеру.

Возвращение «геометрической» образности приходится на заключительную строку второй строфы стихотворения («Он был

---

[40] Финальные строки из стихотворения Мандельштама «В игольчатых чумных бокалах...», 1933 (см.: *Мандельштам О.* Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 203).

[41] См., например: *Йованович М.* Пастернак и Бродский: К постановке проблемы // Пастернаковские чтения. М., 1998. Вып. 2. С. 315–316.

всего лишь точкой. И точкой была звезда»), причем это возвращение становится предзнаменованием ключевого события стихотворения. Изучив круг ближайших предметов, взгляд Ребенка устремляется к далекой звезде, и вот уже сын человеческий стремительно (от восьмой строки стихотворения к двенадцатой, заключительной) осознает себя Сыном Божьим. В младенце пробуждается Младенец. Для этого Ему понадобилось ощутить себя крохотной точкой в глубине пещеры – «концентрацией всего в одном»[42], которую «из глубины Вселенной, с другого ее конца», отыскивает взгляд другой точки (звезды), «взгляд Отца»[43]. Спустя два года эта ситуация зеркально отразится в финале рождественского стихотворения Бродского «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере...» (1989):

> Представь, что Господь в Человеческом Сыне
> впервые Себя узнает на огромном
> впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном[44].

Только отрешившись от человеческих, «одомашненных» реалий окружающего мира, находящихся очень близко и потому отвлекающих внимание от крохотной, едва видной рождественской звезды, Младенец способен стать Тем, Кто призван этот окружающий мир спасти. К такому выводу поэт подводит читателя в финале стихотворения[45].

Чей опыт Бродский учитывал в первую очередь? На этот вопрос мы сейчас попытаемся ответить.

---

[42] Формула Бродского из его интервью П. Вайлю (*Бродский И.* Рождественские стихи. С. 63).

[43] Ср. в рождественском стихотворении Бродского 1990 года: «Морозное небо над ихним привалом / с привычкой большого склоняться над малым / сверкало звездою и некуда деться / ей было отныне от взгляда Младенца» (там же. С. 45).

[44] Там же. С. 44.

[45] Ср. с финалом рождественского стихотворения Бродского 1990 года: «Костер полыхал, но полено кончалось; / все спали. Звезда от других отличалась / сильней, чем свеченьем, казавшимся лишним, / *способностью дальнего смешивать с ближним*» (там же. С. 45).

2. Подтекст

Как мы уже указывали выше, пастернаковский слой стихотворения Бродского «Рождественская звезда» исследован довольно подробно.

Нам, однако, гораздо более существенными кажутся переклички разбираемого текста со стихотворением О. Мандельштама «Когда б я уголь взял для высшей похвалы...» (1937), известным также под домашним заглавием «Ода» или «Ода Сталину». Напомним, что вопреки почти всеобщему мнению Бродский считал «Оду» одним из лучших стихотворений Мандельштама. «Более того. Это стихотворение, быть может, одно из самых значительных событий во всей русской литературе XX века», – отмечал Бродский в разговоре с Соломоном Волковым[46].

Именно к «Оде», на наш взгляд, восходит главный сюжетообразующий мотив «Рождественской звезды». Мотив внезапного узнавания сыном отца (после того как отец заглянул сыну в глаза):

> И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,
> Какого не скажу, то выраженье, близясь
> К которому, к нему – вдруг узнаешь отца
> И задыхаешься, почуяв мира близость...[47].

В этих и других строках «Оды» присутствуют весьма существенные для «Рождественской звезды» мотивы «близости мира», лирического героя, ощущающего себя едва приметной точкой («Я уменьшаюсь там, меня уж не заметят»)[48], а также соседства пло-

---

[46] *Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. С. 33. В свое время один из авторов этой работы письменно обратился к Бродскому с вопросом: «Как вы относитесь к "Оде" Мандельштама Сталину?». Ответ Бродского: «Как к одному из лучших его стихотворений». Об отношении самого Бродского к Сталину см.: *Бродский И.* Размышления об исчадии ада // Новое лит. обозрение. 2000. № 45. С. 148–152.

[47] *Мандельштам О.* Указ. соч. Т. 1. С. 311.

[48] Там же. С. 312.

ской поверхности с возвышенностью («Глазами Сталина раздвинута гора / И вдаль прищурилась равнина»)[49].

Куда важнее, на наш взгляд, обратить внимание не столько на конкретные мотивные переклички между «Одой» и «Рождественской звездой», сколько на общее для обоих поэтов пристрастие к геометрическим терминам при разработке основной темы стихотворений[50]. Приведем лишь несколько примеров из «Оды»: «Я б воздух *расчертил на хитрые углы*»; «Я б рассказал о том, кто сдвинул мира *ось*»; «Я б несколько гремучих *линий* взял» и проч.[51].

Рискуя впасть в сильное преувеличение, мы всё же решимся утверждать, что стихотворение И. Бродского «Рождественская звезда» можно воспринимать и как своеобразную интерпретацию мандельштамовской «Оды». Стихотворение о вожде и поэте было прочитано Бродским как стихотворение об Отце и Сыне, который, глядя Отцу в глаза, понимает, что он обречен погибнуть, спасая мир. В свете такой интерпретации совершенно неожиданное звучание и значение приобретает обещание «*Воскресну я*», которым завершается стихотворение Мандельштама[52].

---

[49] Там же.

[50] Ср. с начальными строками рождественского стихотворения Бродского 1995 года: «В пещере (какой ни на есть, а кров! / Надежней *суммы прямых углов*!)» (*Бродский И.* Рождественские стихи. С. 51).

[51] *Мандельштам О.* Указ. соч. Т. 1. С. 311–312. Ср. с суждением Бродского об образности «Оды»: «...феноменальна эстетика этого стихотворения: кубистическая, почти плакатная» (*Волков С.* Диалоги с Иосифом Бродским. С. 33). Наиболее удачный, по нашему мнению, разбор мандельштамовской «Оды» предпринят в работе: *Гаспаров М.* О. Мандельштам. Гражданская лирика 1937 года. М., 1996. С. 78–121.

[52] *Мандельштам О.* Указ. соч. Т. 1. С. 313.

МОЛЧАНИЕ МЛАДЕНЦА: О СТИХОТВОРЕНИИ «БЕГСТВО В ЕГИПЕТ(2)»

Причастный тайнам – плакал ребенок…
А. Блок

При первом чтении стихотворение «Бегство в Египет (2)» 1995 года поражает своей простотой. При втором – своей сложностью.

Сцена в пещере описана поэтом совершенно беспафосно: Бродский использует подчеркнуто разговорную лексику, почти не употребляет инверсий и сложных синтаксических конструкций, столь характерных для его поздних стихов. Однако видимая легкость текста оказывается иллюзорной при повторном, более внимательном его прочтении:

В пещере (какой ни на есть, а кров!
Надежней суммы прямых углов!)
в пещере им было тепло втроем;
пахло соломою и тряпьём.

Соломенною была постель.
Снаружи молола песок метель.
И, вспоминая ее помол,
спросонья ворочались мул и вол.

Мария молилась; костер гудел.
Иосиф, насупясь, в огонь глядел.
Младенец, будучи слишком мал
чтоб делать что-то еще, дремал.

Еще один день позади – с его
тревогами, страхами; с «о-го-го»
Ирода, выславшего войска;
и ближе еще на один – века.

Спокойно им было в ту ночь втроем.
Дым устремлялся в дверной проем,

чтоб не тревожить их. Только мул
во сне (или вол) тяжело вздохнул.

Звезда глядела через порог.
Единственным среди них, кто мог
знать, что взгляд ее означал,
был младенец; но он молчал.

«Бегство в Египет (2)» предлагает читателю и исследователю сразу несколько загадок. Первой и самой трудной из них оказывается само заглавие стихотворения, входящее в видимое противоречие с его сюжетом. Следуя логике евангельских событий, можно с уверенностью утверждать, что Рождество Христа и бегство Святого Семейства от преследований Ирода в Египет разделены довольно значительным временным промежутком. Когда Ирод узнал от волхвов о рождении Христа, Младенцу было уже около двух лет: «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, *от двух лет и ниже*, по времени, которое выведал от волхвов» (Матф. 2, 16). Вифлеемская звезда появилась на небосклоне в момент рождения Христа, однако волхвам понадобился достаточно долгий срок, чтобы добраться до Иудеи. Более того, в момент посещения волхвов Святое Семейство уже давно покинуло вынужденное и, конечно, временное пристанище, пещеру-хлев: волхвы, «вошедши в *дом*, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, падши, поклонились Ему…» (Матф. 2, 11). В классическом толковании Евангелия это место трактуется весьма недвусмысленно: «Родился Иисус Христос в пещере, а поклонялись Ему волхвы в доме, в котором *после того* поселилось Святое Семейство»[53].

Тем не менее Бродский настойчиво помещает Младенца и его близких в пещеру, снабжая ситуацию важнейшими атрибутами первой рождественской ночи: место рождения Христа – хлев – противопоставлено комнате («Надежней суммы прямых углов!»), колыбель-ясли заменена соломенной постелью – такой же, как и у животных в хлеву (мулы и волы), Христос описан как новорож-

[53] *Гладков Б.* Толкование Евангелия. СПб., 1907. С. 74.

денный («Младенец, будучи слишком мал / чтоб делать что-то еще, дремал»), «через порог» пещеры глядит Вифлеемская звезда. Вместе в тем название стихотворения и сюжетная линия, связанная с Иродом, уже «выславшем войска» для избиения младенцев, относят описываемые события ко времени *после* поклонения волхвов. Откровенно признаемся, что найти правдоподобное объяснение этой хронологической путаницы довольно затруднительно[54].

Отмеченное нами наложение двух евангельских ситуаций друг на друга прослеживается не только на сюжетном, но и на других уровнях текста. Так, тема Ирода и его погони за Младенцем неожиданно и на первый взгляд совершенно немотивированно вклинивается в описание пещеры и ее насельников. Интересно, что в третьей строфе автор методично перечисляет, чем занимались члены Святого Семейства: «Мария молилась», «Иосиф… глядел», «Младенец… дремал». А начальный стих пятой строфы, продолжая ту же тему, звучит как обобщение: «Спокойно им было в ту ночь *втроем*». Четвертая строфа, посвященная Ироду,

---

[54] Можно, конечно, предположить, что Бродский не разделял два евангельских события: поклонение волхвов и поклонение пастухов новорожденному Христу. См., например, описание рождественского вертепа в стихотворении «Presepio» (1991): «Младенец, Мария, Иосиф, цари, / скотина, верблюды, их поводыри, / в овчине до пят пастухи-исполины…». Еще выразительнее такое смешение событий проявляется в стихотворении «Рождественская звезда», в котором речь, без всякого сомнения, идет о рождении Христа, но при этом присутствуют волхвы. Однако даже при таком объяснении остается непонятным, зачем поэт называет свой текст «Бегство в Египет». Одноименное стихотворение 1988 года, кажется, содержит ответ на интересующий нас вопрос: «погонщик» (Господь?) вынуждает Марию и Иосифа бежать. Отдыхая во время перехода через пустыню, Святое Семейство, видимо, находит пещеру, в которой проводит ночь. Однако такое объяснение не годится для нашего текста, в котором автор акцентирует мотивы рождественской ночи. Получается, что согласно какому-то неведомому апокрифу, скорее всего созданному самим Бродским, Ироду еще до появления на свет Христа было уже известно о предстоящем событии. И Христос рождается в пустыне непосредственно во время бегства Марии и Иосифа от преследований Ирода в Египет. Однако такая версия противоречит евангельской и представляется совершенно немотивированной автором.

«разрывает» связный рассказ, создавая, таким образом, ощущение, что она введена специально для того, чтобы акцентировать тему бегства в Египет и оправдать название стихотворения.

Сходную функцию несут образы животных, сопровождающих Святое Семейство, – мул и вол. Мул вполне мог служить средством передвижения для Марии и Младенца во время бегства в Египет. Вол, конечно, абсолютно лишний в ситуации бегства, зато более чем уместен у колыбели Иисуса в рождественскую ночь[55]. Автор демонстративно не хочет различать животных: «*Только мул* / во сне *(или вол)* тяжело вздохнул» – и этим *неразличением* еще раз совмещает два временных плана. Рождество и бегство в Египет у поэта всё время совпадают.

Почему Бродский методично совмещает описание рождественской ночи с изображением бегства Святого Семейства в Египет? Напрашивающийся ответ: поэт был склонен рассматривать ситуацию Рождества как архетипическую, поскольку, по Бродскому, Рождество – «это праздник хронологический, связанный с определенной реальностью, с движением времени»[56]. Неважно, сколько времени прошло со дня рождения божественного Младенца – два года или две тысячи лет, события той Вифлеемской ночи вновь и вновь повторяются и переживаются человечеством. Человечество может быть представлено как самыми близкими Христу людьми, так и безликой толпой, бессмысленно закупающей продукты в советских магазинах для неведомого праздника (вспомним наш разбор стихотворения «24 декабря 1971 года»). И смиренная молитва Марии, очевидно еще не знающей о предназначении рожденного ею Младенца, и предновогодняя суета ни во что не верующих людей оправданы «светом ниоткуда» – «основной механизм Рождества», описанный поэтом за 24 года до «Бегства в Египет (2)», уже приведен в действие.

---

[55] Вол упоминается также Б. Пастернаком в стихотворении «Рождественская звезда» (1947): младенца «согревало дыханье вола». Это стихотворение Пастернака, по признанию самого Бродского, оказало существенное влияние на создание ряда его рождественских текстов. Подробнее об этом см., например, в уже упоминавшейся выше работе М. Йовановича.

[56] См.: *Бродский И.* Рождественские стихи. С. 58.

Попытавшись определить основную мысль рассматриваемого стихотворения Бродского (впрочем, как и некоторых других его рождественских текстов), резюмируем: рождественское чудо повторяется из года в год и независимо от веры в него так или иначе воздействует на человеческие жизни. Не случайно стихотворение «Бегство в Египет» 1995 года имеет порядковый номер – цифра 2 указывает на бесконечное число повторов («Бегство в Египет» 1988 года не обозначено цифрой 1).

Нашу догадку подтверждает начало третьей строфы рассматриваемого текста: «Мария молилась; костер гудел». Звуковое сходство как бы провоцирует заменить слово «костер» на «костел». Тогда получается, что молитву Марии сопровождает органная музыка – «гудение». При такой замене действие стихотворения Бродского, происходящее вроде бы в настоящей пещере, переносится в храм и становится отражением, своеобразной микромоделью реальности. Святое Семейство предстает игрушечным, снег – аккуратно разложенной ватой, звезда – блестящей фольгой. Сравним с соответствующим фрагментом из стихотворения «Presepio» (1991):

Младенец, Мария, Иосиф, цари,
скотина, верблюды, их поводыри,
в овчине до пят пастухи-исполины
– все стало набором игрушек из глины.

В усыпанном блестками ватном снегу
пылает костер. И потрогать фольгу
звезды пальцем хочется… .

Превращение живых людей в «игрушки из глины», напоминающие о наступлении праздника, выразительнее всего свидетельствует о том, что Рождество для Бродского – это прежде всего яркий пример «структурирования времени».

Предложенная трактовка текста позволяет понять, почему Святое Семейство, спасаясь от преследований Ирода, вновь попадает в ситуацию первой ночи после Рождества. Характерно, что все отсылки к рождественским событиям автором специально выделены. Мария, Иосиф и Младенец снова оказываются в пеще-

ре, и поэт сразу же замечает в скобках: «...какой ни на есть, а кров! / Надежней суммы прямых углов!», – уподобляя эту пещеру хлеву, который два года назад заменил Марии переполненную гостиницу[57]. Метель снаружи «мелет песок», а мул и вол спят на своих соломенных подстилках, «*вспоминая* ее помол» – они вспоминают, как было *тогда*. Заключительным аккордом звучит стих: «Звезда глядела через порог» – как и каждый год в Рождество Вифлеемская звезда зажигается на небосклоне.

Четвертая строфа, посвященная Ироду, становится, таким образом, центральной и смыслообразующей в композиции стихотворения. Она перекликается с четвертой строфой стихотворения «24 декабря 1971 года». Прочитаем их параллельно:

Пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг как бы свет ниоткуда. Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо. Постоянство такого родства – основной механизм Рождества. «24 декабря 1971 года»	Еще один день позади – с его тревогами, страхами; с «о-го-го» Ирода, выславшего войска; и ближе еще на один – века. «Бегство в Египет (2)»

Думается, что в двух текстах Бродский выражает одну общую мысль: бессилие Ирода перед Младенцем – часть ежегодного рождественского чуда. Позади – один день страха, впереди – века повторений Праздника. В 1971 году поэт свидетельствует об этом от лица своих современников, в 1995 – как бы от лица Святого Семейства, оказавшегося точно в такой же ситуации. Ведь ни Мария (она молится, но неизвестно, чему и Кому посвящена ее молитва), ни Иосиф (насупясь, он глядит в огонь, и это может означать что угодно, вплоть до сомнений в божественном происхождении Иисуса), ни даже Младенец (который дремлет, потому что «слишком мал») у Бродского не знают, что означает взгляд звезды. Для всех них скрыто значение происходящего – они

[57] Пещера надежней комнаты, потому что она геометрически не выстроена. Это давняя мысль Бродского: пещера хороша именно тем, что позволяет человеку спрятаться, скрыться от мира («комплекс капюшона»).

обычные люди, занятые каждодневными делами, не умеющие принять в свою жизнь Того, «кто грядет» (воспользуемся еще одной цитатой из стихотворения «24 декабря 1971 года»):

> Единственным среди них, кто мог
> знать, что взгляд ее означал,
> был Младенец; но он молчал.

Младенец *«мог знать»*, что означает взгляд звезды («звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца»), а мог и не знать. Причем в случае незнания он входит в число таких же обычных людей, как Мария и Иосиф. Молчание Младенца оставляет финал стихотворения открытым. Ведь «основной механизм Рождества» действует только в том случае, если Младенец это Христос.